

1

Была у нас в Кутырках самогонщица Бабманя.

Царствие ей Небесное, хорошая самогонщица была!

В первый раз навелся я к ней, когда родители послали меня в мамину деревню на каникулы. Между седьмым и восьмым классом. Помню, помялся на крыльце, нервно сжимая в кулаке рубль, постучался. С крыльца, конечно, не спустила, но ответствовала достойно. Я все боялся, что маме передаст. Не передала.

Было ей тогда за пятьдесят. Худая, низенькая, шустрая, как лесной ручеек. Жила одна и замкнуто – у себя принимала неохотно и по гостям не разгуливала. И замуж не ходила. И детей Бог не дал. Все летала, как юница. Все молчком, все с улыбочкой куда-то внутрь себя. Глаза светло-серые, невзрачные, как речной песок, а в глубине печаль омутная – стоит, леденеет.

Была она из травниц в каком-то там поколении. Мать ее лечила по окрестным деревням лучше всякого фельдшера. И мужики фронтовые, особенно вернувшиеся домой прямо с госпитальных постелей, рубили ей в благодарность новый двор. И сени с избой не раз и не два подновляли. Но сам я это, конечно, не видел, это из маминих рассказов. А к тому времени, как мы познакомились, здравоохранение покрепло, а разнотравье поистощало. Да и пенсия у Бабмани бесколхозной копеечная была. Стала она самогон варить. Тем и жила.

Лет тридцать прошло, и уже после армии, перестройки и гайдара, после бесконечных дегустаций французского, чилийского и прочего, которые еженедельно проводились в зимнем саду церетелиевской Академии Художеств и на которых я по долгу службы изучал всякую органолептику, в те уже времена, когда все коридоры в редакции были забиты коробками с бартерным кальвадосом и текилой, а в уютной нише рядом с кабинетом стояли понемножку опорожнявшиеся ящички с еще неизвестными на Руси кашасой и эпплджеком, в те времена купил я недостроенный дом в Кутырках и однажды снова навелся.

– Здравствуйте, – говорю. – Мужики Березовские мне на днях крышу крыли. От лайма отказались, а текилу выпили и обругали. Сказали: только бабманина! Дайте мне, пожалуйста, бутылочку. На пробу.

– Тебе какой? От головы, от живота? Или просто для веселья?

– Мне, Бабмань, на пробу. Для всего. И для веселья, и чтоб утром ни голова, ни живот не болели.

– А-а-а... ну, это тебе облепиховую надо.

Вынесла полудлитровую облепиховую.

– А я ведь помню, – сказала, – как ты еще с соплями неутертыми рубль мне в карман халата совал...

И скидку сделала.

Облепиховая и вправду оказалась хороша. Покрепче водки была она у Бабмани. Так что, еще недоопрокинув стопарик, уже ощутил я в груди приятный и спокойный огонь. И до того чиста, зараза! До того приятно растеклось по нёбу многослойное, похожее на ананас, послевкусие, что не захотелось мне пошлым соленым огурцом поганить букет облепиховый. И не стал я закусывать, а налил еще одну и послал вдогон. Какая сивуха? Да что вы, помилюйте – симфония серотонина... майский день... именины сердца!

И весь вечер было мне хорошо от бабманиной облепиховой. И к ночи еще раз сходил к ней. И наутро ничего не болело у меня.

Так мы и подружились.

С матушкой моей, Степановной оказались они погодками, и до войны были неразлучны. Кое-что рассказала мне Бабманя о тех годах, и через эти рассказы лучше я стал понимать маму – ее загадочность, ее необоримую властность и такую же необоримую вечную грусть.

– Нюрка-та, мать твоя, – вспоминала Бабманя, – ох, дычиво красивая в дефках была. Как скрыжапель созревшей! Я-та фсе в тyani ee, в тyani... Мы тады на пасиделки к Ворони ходили, пат берех. Так вокруг Нюркиной паневы аш с трех диривень шурани крутились. Пряма круг стрибушка. Ой, и дралися за ee, и че тока ниче. А она никаму стакана не насытила. После войны уехала в Мытищу сваю...

В переводе с тамбовского на городской и унылый это означало, что мама в юности была красивой, как спелое яблочко. А Бабманя, с ней дружившая, была всегда в тени ее красоты, и никто на Бабманю внимания не обращал. И ходили они к речке Вороне, под берег – на посиделки с молодыми ребятами. И ради мамы даже из дальних деревень парни сходились. И вокруг маминой юбки крутились эти «шураны», как бычок крутится вокруг колышка, к которому его привязывают в поле, чтоб не ушел и не заблудился. И дрались из-за нее, и много чего было. А мама так никому из них и не дала поцеловать себя за свадебным столом, а уехала после войны в Подмосковье – искать долю свою.

Будучи бездетной, Бабманя не церемонилась со мной, а любила и ругала точно, как мама. Что такое пустая голова и голова бестолковая, мне было понятно сразу, но почему иной раз называла она меня головой «садовой», и сейчас понять не могу. Я тоже имел язык скорый и насмешливый. Мы частенько поругивались, и за нашими перепалками была надежно укрыта настоящая живая нежность.

Жила Бабманя до неприличного бедно для самогонщицы. Ходила, в чем бог послал, питалась огородом, трапезничала алюминиевой ложкой с обливной тарелки. Одна и та же черная юбка до щиколоток, та же сиреневая, стираная-перестиранный кофта, и один и тот же платок – темный, в шерстяную клетку, который даже по летней жаре не снимала она. Монашка, да и только! Если нанимала кого, забор поправить или дрова поколоть, расплачивалась всегда деньгами – выносила труднику репешковую или розовую только в качестве бонуса. Говорила, спиртным за труд расплачиваться грешно, Бог накажет!

– Бабмань, и куда ты деньги деваешь? – спросил я ее однажды. – За день-то сколько раз к тебе постучат! А ты и платка нового не купишь. И все у тебя щи да картошка, картошка да щи.

– И-их, Миша, куриные твои мозги! – беззлобно до неправдоподобия отвечала она. – Где их взять-то, денег этих? Ты думаешь, раз бабка самогон варит, так серебром с золота кушать должна? Да ты посмотри, времена какие! При ельцане-то, что ни делает человек, рожь ли растит, дома ли строит, самогон варит или еще чего – если честно все делаешь, как для Бога, так едва концы с концами сведешь.

– Ой, Бабмань, не ври, – смеялся я. – Ты что, для Бога что ли самогонку варишь?

– Может, и для Бога, почему ты знаешь? Ты думаешь, что делов только – забражить да выгнать? А ты попробуй сырец-то очисти. Головы с хвостами от сердца отдели, попробуй. Да второй раз перегони. Да опять очисти. Чтоб как водичка родниковая была. Да созрева дождись. Да смешай друг с дружкой, как мать учила.

– В смысле, купаж, Бабмань?

– Купаж у твой не знаю, а вот буду выгонять на днях, поставлю рядом. Покрутишься целый день, тогда и поймешь. Опять же трава. Поля не пашут, дуга катеджею застроили. А крымская травка или алтайская... ага, поезжай бабка... собирай.

И объяснила она мне в тот раз всю свою экономику – и про расход материалов, и про период оборачиваемости средств, и про маржу, и про совесть. И полюбил я ее с того разговора еще больше!

Один день, и вправду, покрутился я возле её жбанов да кегов. И все в бабманином производстве доводило меня до бешенства. Особенно то, как медленно на тихом-тихом огне капает будущая облепиховая из прямоотчника. А когда и накапает, то рано праздновать – очищать надо. А ту, что очищена, заново перегонять. И опять очищать. А потом разливать по банкам и траву топить. И сусло готовить, и освободившийся жбан мыть да заново забраживать. А Бабманя, как аптекарь, разбирала травку свою в углу, покрикивала на меня за неуклюжесть и посмеивалась. Ну и как, спросила под вечер. Да ну, тебя, Бабмань! Это ж сколько терпения надо! Ты – перфекционистка, с тобой с ума сойдешь...

Делала свое дело Бабманя под неусыпной опекой правоохранительных органов. Почасту можно было видеть припаркованную возле ее калитки «канарейку», желтый милицейский уазик – то наш, кутырский, то из Балыкля, а иногда даже инжавинский. Я сначала думал, – за данью приезжают, ан нет! Не только не обирали, но и бесплатно не одаривались. Платили, как все, утверждала Бабманя, и скидку милицейскую не брали. Из уважения, значит!

Незадолго до бабманиной смерти составилась против нее подлый бодяжный пул. Были в нем несколько хозяев водочных ларьков по округе, но больше – ганьба и огуда, которая днем брала в ларьках левую водку, после девяти вечера распродала своим же соседям за две цены, а после полуночи и за три. Хочешь – бери, не хочешь – не бери: дело хозяйское. А летом девяносто восьмого, как остался народ-богоносец с дулей в кармане да поужалась малость, начали расти у них убытки из-за Бабмани. Потому что у нее круглосуточно цены дневные были. И продукт чистый. И под запись можно было взять. А иным, одиноким и совсем уж пропащим, бывало, отпускала Бабманя и бесплатно. Чтобы, значит, до Бога быстрее доползли.

И вот прислали конкуренты представителя к бабке, жестко так припугнули: мол, распродай запасы и закрывай свой спиртзавод! Если не перестанешь гнать или цены втрое не подымеешь, обижайся, бабка, на одну себя. И дом попалят, и руки-ноги поломают, и много чего наобещали.

– Да как же подымать, – вскинулась Бабманя. – С весны за двадцать отдаю. Как же я шестьдесят просить буду?

– Как хочешь, так и проси, – рявкнул представитель и выходя хлопнул дверью поубедительней, так что ложки-поварешки бабманины разлетелись с полок по всему полу.

Через несколько дней остановился у калитки милицейский уазик. Это уже Юрка Четвертак рассказывал, приходившийся мне каким-то там семиколленным свойственником, а в Кутырках в те годы участковым работавший. Захожу, говорит, сидит Бабманя на табуретке посреди кухни. Нахохлилась, руки на колени уронила, бахрому на платке теревит.

– Ты че, Бабмань? Че горюешь-то?

– А ниче! Поясница болит.

– Это пройдет. Дай-ка мне парочку, – достает мятые бумажки. – Одну слабянкую, розовую – для Наташки. И одну мне... Шалфейную, что ли.

– А нет больше. И не будет, – не пошевелись, отрезала бабка.

– Как не будет? Ты че, Бабмань? Совсем плохая?

– Вот так. Не будет!

И рассказала участковому про визитера. А Юрка как-то взбодрился сразу, азартно потер ладони одна о другую, заторопился:

– Ты, Бабмань, не переживай и баклуши не бей. А вставай быстренько и забраживай по новой. Я с визитерами этими сам разберусь.

Наутро явился к бабке все тот же представитель и повинулся. Мол, про-сти, бабка, погорячились мы. Ты уж гони, как гнала. Но цену-то хоть вдвое задери. И вообще, если надо чего, мы бабке одинокой всегда поможем. Бесплатно. Только скажи.

Мигом догадавшись о причине, переменившей настроение бодяжного пула, Бабманя чиниться не стала:

– Навозу бы машину надо. Огород совсем не родит, – невинно сказала она.

Навоз привезли не мешкая, а цены остались те же.

2

С этим навозом я и возился по осени, растаскивал по огороду и перекапывал. Хорошо так копалось. Пришел засветло и до обеда на две сотки пере-лопатил. Именно в тот день и состоялся у нас с Бабманей разговор, который я и теперь помню почти дословно.

Позвала она обедать, встали за стол. Глядя куда-то в окно, пропела Бабманя «Отче наш», пригласила садиться.

– Давай плесну тебе, – говорит. – Новой совсем. Давно думала, нервные все, от нервов сварить надо. Ну, это аистник, конечно, сорочьи глазки, донника чуток.

А был август, двадцать седьмое. Покопался я в красный угол, подумал, что завтра Успение, литургия в семь утра. Помялся несколько, погонял в голове приятные мысли.

– Да нет, Бабмань. Потом продегустирую сорочьи глазки твои.

– Ну, как знаешь.

И вот тут, после первой смены блюд, нарезая ложкой гороховый кисель, я говорю ей:

– Хороший у тебя кисель, Бабмань, и сама ты человек хороший! Но одно-го не пойму я никак. Ты крещёная?

– А как же! Здесь в Кутырьках и крещеная.

– Вот видишь, крещеная! И в Бога веришь. И молишься. И стол у тебя всегда постный. И в красном углу иконы – аккуратные, чистенькие, без паутины. Гиляндоочка над ними опрятная, полотенчик, как вчера, отбелен-ный.

– Ну... и к чему ты клонишь?– настоженно склонила птичью свою го-ловку.

– К тому, что верующий ты человек, а сколько я тебя знаю, в церкви ни разу не видел. Это почему так?

– Ноги больные у меня, тяжело мне до церкви идти, – соврала она.

– Ну, да! На лугу за Вороной по полдня ходишь, траву свою собираешь. А на другой конец деревни дойти – ноги у тебя больные. Чего ты врешь-то, Бабмань?

– Ты вот что... доедай да копать надо, – оборвала она. – Прицепился, как репей.

Но я не отцепился.

– Бабмань, ты не обижайся на меня! – сказал. – Мы же не первый год дружим и не первый раз я тебе копаю. И ты знаешь, что ни денег, ни самогонки не возьму. И ты ведь любишь меня... Любишь?

– Ну, люблю, люблю... дальше чего?

– А дальше мне, Бабмань, понять тебя надо. Для себя. Как так, в Бога верит человек, а в церковь не ходит?

Помолчала бабка моя дорогая, погоняла крошки хлебные вокруг тарелки, посмотрела речными своими глазами в честной угол, проронила:

– Нельзя мне, Миша, в церковь ходить. Как же я пойду? Христа позорить?

И не давая мне слова вставить, объяснила она себя – как-то грустно и безнадежно, как о деле, давно решенном. Я, говорит, грешница, как мне в церковь быть? Что-то люди подумают, юбку новую нацепила, явилась бес-стыдная. Пред Христом красуется, свечки Ему ставит. Но мы-то знаем, откуда она деньгу на эти свечки берет... В церковь, Мишаня, добрые люди ходят, порядочные. Их Господь и ждет, им Он и рад. А я что? Темная баб-

ка. Самогонщица. Дура, прости Господи, несуразная – вот и нельзя мне в церкву...

И какая-то большая обида, какая-то большая растерянность вдруг увлажнили бесцветные ее глаза, и, отирая их концом платка, наговорила она мне семь бочек арестантов. И о том, что молится она с закрытыми глазами, потому что страшно ей на Христа с Богородицей взирать. И про скорые языки баб, чьи мужья были ее «клиентами». И об одиночестве своем. О том, что даже мужика за всю жизнь не дал ей Господь попробовать. И что нет у неё никого, кроме меня да родной сестры, в какой-то там Геническ еще в юности умотавшей. Замуж за стройбатца – из тех, что от Красивки к нам дорогу тянули. И жизнь-то вся уже прожита, и ни на что не пригодилась бабка. И где он, Господь-то, где он все восемьдесят лет был?

И где надо было лишь приобнять за плечи да пожалеть, погладить по редковолосой головке, там вместо простого человеческого участия принялся я ей Евангелие толковать. Да только что человеку до умных, и даже честных, и даже справедливых слов. Душа болит у него! Хочет он, чтоб не болела душа, а больше ничего ему и не надо. Со всем остальным он и сам справится. А словом – всегда ли, всякий ли лечится? Это я по себе помнил, как ненавистны мне были в новоначалии ледяные воды евангельских цитат, в коих топили меня с головой иные из самодовольных поборников православия. И однако, не выдержал я внезапной бабкиной откровенности и заговорил, как мог.

– Ты, Бабмань, всё перепутала, все с ног на голову поставила! Вот «Отче наш» читаешь, а Евангелие не читаешь. А если б читала, то знала, для кого Христос приходил. Я, говорит, не ради здоровых, а для болящих. Не добрых и порядочных пришел я созвать, а чтобы грешники пришли ко мне. Понимаешь? Придите ко мне, сказал, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Со Мной, сказал, найдете покой душам вашим, а без Меня не найдете... Где восемьдесят лет был? А ждал Он тебя все эти годы, а ты все на иконы жмурилась. Жмурилась-жмурилась, а до Него так ни разу и не дошла. Да и я... да и я через пень колоду. А Он же именно таких, как ты и я, ждет. Добрые и порядочные, Бабмань, их Он на второе пришествие позовет.

– Ну, это ты целую городушку нагородил! К чему ты это? – усомнилась она.

– Ничего я не городил. Так в Евангелии написано.

– Это где ж там написано?

– У Матфея, в двенадцатой главе. Дай Евангелие, я тебе прочитаю.

– Нет у меня Евангелия.

– Ну, так ходила бы в храм. Там на Литургии вслух читают. И потом объясняют.

– Это я и без тебя знаю, что читают.

– Вот и хорошо, что знаешь. А апостола Петра ты знаешь?

– Как же! И Петра и Павла. Обоих знаю.

– Вот и научись от Петра! Он же сначала рассуждал, точно как ты. На озере Геннисаретском Христос к нему в лодку взошел, а он и говорит Христу: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Не могу я, говорит, рядом с тобой стоять. Ужас меня объял, страшно мне подле тебя.

– А Христос что? – спросила недоуменно.

– Христос не послушался Петра и не вышел из лодки. Сказал ему, ничего не бойся, Петр. Оставь рыбалку свою, бери товарищей и идите за Мной.

– А Петр что?

– Петр послушался и пошел за Ним. А через три года Господь его оставил главным после себя и ключи от рая доверил. Ну, насчет ключей это фольклор, конечно, но неважно. Ты подумай, Бабмань! Когда Христос в Гефсимании просил Петра бодрствовать с Ним, потому что скорбел сильно, Петр взял и уснул. А перед этим сколько хорохорился: мол, Господи, я тебя люблю и никогда не оставлю, и пойду с тобой до конца. А дня не прошло, как он три раза Христа и предал. И Господь ему даже такое не вменил в вину. Потому что заранее знал – так и будет с петухами этими. А ты все за самогонку свою переживаешь! Вот ты-то, Бабмань, как раз и нагородила городушку в душе своей. А знаешь... знаешь, я давно об этом думаю: если б не твоя репешковая да облепиховая, от денатурата и левой водки давно бы уже все мужики в округе поперемерли.

И не нашлась Бабманя, чем ответить. Порывисто встала из-за стола, зажмурившись по своему обыкновению, перекрестилась на божницу, собрала грязную посуду. Пошла на кухню, вынесла чаю со смородиновым листом и ушла к себе. Заперлась. Кое-как, второпях, добил я огород. Думал, побыстрее бы, и в баню. Готовиться назавтра опять ночью придется. А Бабманя, как вышла проводить, протянула аж полусотню сизую.

– Ты чего, Бабмань? Мы же договаривались!

– Да я не о том... Ты в церкву завтра пойдешь ведь. Купи мне, Миша, Евангелие.

– Нет, давай вместе пойдём, сама и купишь.

– Вот же пустая твоя голова! Я тебе говорила уже, нельзя мне в церкву, – перечеркнула Бабманя все мое красноречие.

Евангелие я ей купил. Большое, с крупным шрифтом и золотым обрезом. И часто видел потом, как лежит оно у нее – то под божницей, то на столе в кухне, то на терраске. То на Матфее раскрытое, то на Луке, на Деяниях.

В октябре вернулся я в Москву, зарабатывать на отделку нового дома. А по весне снова копали мы бабманин огород, картошку сажали, нарезали грядки под огурцы и кабачок, бахчу готовили. И зачем-то пыталась она меня, далеко ли от нас до Геническа, поездом ли, самолетом, и сколько стоит. И еще показала она мне в ту весну особую честь – по осени прикопала черноплодку с калиной, а зимой снесла старый сарай. На майские праздники и черноплодку, и калину, и всю почти ягоду, что росла у неё, собственноручно пересадила Бабманя со своего участка на мой. А на месте сарая устроила мишанин клин. Это чтобы, значит, я помог ей вскопать и посадить, а потом уже не отвлекался от стройки на полив и прополку. По осени урожай с этого клина с собой в Москву везти. Чудная! Попру я морковку со свеклой за пятьсот с лишним верст...

Господи, все в руке Твоей!

Не дожидая Бабманя до урожая.

На последней седмице пред Петровым постом дошла, наконец, до Господа своего.

Дней за десять до того позвала к себе, посадила за стол. Помялась, попеняла с минуты на сухие погоды, плеснула облепиховой. И выложила на стол две стопочки денег, обвязанные чистыми тряпицами.

– Ты вот что, Мишаня! Как помру я...

– Бабмань, ты чего? Я что, душеприказчик тебе? Иди вон к батюшке, ему и наказывай. А я не люблю этих разговоров. Помирать она собралась...

– Да помолчи ты, голова садовая, – оборвала, как могла резче. – Послушай старого человека! Как помру я, деньги эти, Миша, за божницей лежать будут. Вот это, – развязала одну тряпицу, – сестрины. И вот адрес я тут написала. Пошлешь телеграмму ей сразу, и напиши, что деньги на самолет передашь ей, в оба конца. А тут, – указала на вторую тряпицу, – гробовые. Обрядить, заупокойные и на поминки. Узелок смертный в комодке внизу лежит, – указала она на старый изъеденный древоточцем шкаф. – Пивное на стол в подполе найдешь. Крепкое направо от ледника, женское слева стоит. Ну, там разберетесь. Аппарат мой на печке...

– Бабмань, чего ты, в самом деле! – отчаянно пытался я перебить. Отчаянно, потому что как-то тревожно уже, больно мне стало от этих распоряжений. Почувствовал я, что не зря затеяла она разговор, и восстало всё во мне против ее приготовлений. – Ты клубнику мне обещала в августе пересадить, я и место приготовил...

– Господи, какой же ты поперечный! Дослушай бабку, потом не у кого спросить будет, – гнула она своё. – Аппарат мой на печке найдешь, и травы оставшиеся там же. Я надпишу все. Ты это хозяйство сразу заberi. Я тебе немножко показывала. Так что приладишься выгонять – выгоняй. Но только себе, без коммерции. Не приладишься – разбей, разломай, как хочешь. Но никому не отдавай аппарат, обещаешь?

– Ага! Обещаю. Пристроить твой аламбик в водочный музей в Черноголовке. Отдельную экспозицию открою: «Роль Бабмани в русском винокурении»... Можно?

– Ох, как тяжело говорить с тобой! – не отступалась она, и едва не поругались мы в тот день. Но слово, что всё назначенное будет исполнено, она из меня выудила.

И неделю почти ни свет ни заря бегал я к ней под всякими дурацкими предложениями. И с отцом Сергием переговорил. На всякий случай – как нам, если что, успеть исповедать и причастить ее. Батюшка, услышав о бабманиных приготовлениях, помрачнел, грустно покачал головой: нет, мол, не допустит она себя к причастию.

И вот, когда я уже успокоился, когда окончательно перестал предавать значение бабкиным словам, Сашка Семенов, сосед мой, крикнул меня поутру через штакетник:

– Мишка, а где подруга твоя? Где Бабманя-то? Ночью ходил к ней, и сейчас вот стучал. Калитка же день и ночь нараспашку. А тут заперта, на ключ.

Сразу я все и понял. Бросил литовку, где стоял, добежал к ней, перелез через забор, поднялся задним крыльцом. Нет больше Бабмани моей. Только легкое ее, тонкое, как репешок, тело лежит на полу лицом горе, рядом с аккуратно застеленной кроватью. Шага не дошла. И речные глаза ее, широко-широко распахнутые, с неземным изумлением смотрят в честной угол. Поднял я травинку мою ненаглядную на кровать и закрыл ей глаза. Литию бы хотя мирскую... да нет и молитвослова в доме. А на память, разве за четыре раза выучишь литию?

Забрал, что наказала. Сбегал к себе. От порога к Юрке. Сели в «канарейку», куда? Сначала за врачихой. Врачиха констатировала. Судя по внешним признакам, сердце. Просто остановилось. Вскрытие покажет. Не надо никакого вскрытия. Потом к батюшке, что он скажет. Батюшка как-то стремительно, как давно готовый, распорядился. Женщин, чтобы обрядить, сам пришлет. Нам к Наталье Николаевне заехать, пусть быстро певчих собирает и приходят. А за гробом-то, к Звягину, наверное. Деньги оставила или дать? Оставила. Ну, и ладно. И, не зайдя в домик причта, в чем был, в том и напавшись бегом в храм.

Никогда, никогда настолько не нужен человек человеку, как в эти первые дни, первые часы даже. Когда не стало человека, тогда он как нужен ты ему. Потому что теперь ты и руки, и ноги, и сердце его. И если отныне разрешается он от немоты, то только твоими устами. И только в эти дни понимаешь, как, на самом деле, он дорог тебе – был ли, стал ли... И великая мудрость заключена в торопливой беготне, в нескончаемых этих хлопотах вокруг безучастного тела. Потому что некогда распущаться, и слезы сглотнуть некогда. Крутиться, крутиться надо. И только вечером третьего дня, проводив поминавших, перебив посуду и натаскав ключевой воды, чтобы вослед ушедшему вымыть крыльцо, вдруг посреди дела, посреди незавершенного какого-то жеста вдруг ваит тебя на стул. И оглядев пустой дом удивленными глазами, ты вдруг понимаешь то, от чего так старательно прятался все эти дни – а нет человека-то твоего дорогого! И не будет уже. Никогда. Вот тут только и начинаешь сглатывать поздние слезы. Тут только и начинает тонуть сердце в непосильной земной жалости.

Так было всегда и так будет. Я уже знал это наверное, ибо для меня это были четвертые похороны, на которых пришлось не просто блины трескать, а именно крутиться, слаживать многоголосый, порою скандальный хор. Потому что, как правильно жить, никто из нас точно не знает, а вот как хоронить правильно – тут уж все знатоки.

3

Телеграмму в Геническ отправили, разрешение в сельсовете взяли, с Сашкой Семеновым повздорили. Копать он сразу согласился, но брать плату наотрез отказался. Я, говорит, должен Бабмане. У меня под запись еще две поллитры стоит, как раз и получится.

– Саш, надо взять деньги, – сказал я ему. – Бабманя запретила спиртным расплачиваться. Она говорила, ни к чему ей лишние грехи. Ты уж уважь бабку.

– Слушай, пошел ты со своими грехами. Куда подальше! – отрезал он, пробую ногтем большого пальца штык выбранной лопаты. – Сказал, не возьми, значит, не возьми. Не нравится – ищи других!

– Ну, хорошо, ты не возьмешь. А помощникам? Один же не будешь копать?

– Чо там? Летом и одному делать нечего. На два штыка суглинок, потом песок пойдет. До обеда управлюсь.

Управились за два часа. Двенадцать человек копали Бабмане – по очереди, поровну, чтоб никому из мужиков обидно не было. Час копали, еще час сидели по краю ямы, наливали – вспоминали и поминали.

Всю первую ночь читали мы Псалтырь с тетей Клавой Дмитриевой. По-переменно, по две-три кафизмы. Она с больными своими ногами, сидя под ночником на бабманиной кровати, а я возле гроба, при свете крестообразно расставленных свечей.

И мало, скажу я вам, мало на свете такого, что люблю я так же очевидно и горько, как чтение Псалтири по усопшим. Дважды по молодости загляндывавший в лицо смерти, я давно не боюсь приобретенных ею бездыханных телес. Напротив, именно подае них, кажется мне, и собственная моя жизнь приобретает новую очевидность, новую подлинность всего сущего на земле. А кроме того, эта ночная Псалтырь, эта молитва об усопшем есть вместе и последняя моя возможность долюбить любимое, договорить недосказанное, домирился, дообъясниться.

И каждый раз в такие ночи бурное мое воображение, памятью о рассказанном блаженной Феодорой, почти физически видит, как борются за человеческую душу белые ангелы и черные эфиопы. Почти воочию вижу я золотые пояса на груди одних и грязные свитки в руках других. И тогда, кажется мне, что я единственный, кто еще успевает вступить за честь и участь любимого человека. И что вот только от меня, от того, бубню ли я Псалтырь, втихую проклиная слипающиеся глаза, или, шепча «спаси, Господи, от кровожадных душу мою», в действительности, не шепчу, а ору изо всех сил уродливым эфиопам: «Оставьте! Отцепитесь, не трогайте любимое мое...», может быть, только от того и зависит, качнутся ли весы, на которых трепещет родная душа, к небесам или замрут они, прикованные к земле. Может быть, только от того, насколько весома крупица любви, зароненная в мою душу уходящим, от того только и зависит будущая участь всех любимых мною. И потому так стремительно, так нестерпимо обжигающе льется из воскового сердца полуобморочная от усталости и недосыпа молитва.

Уже за полночь, где-то в середине дела, на десятой или двенадцатой кафизме не выдержала тетя Клава, взмолилась певучим своим голоском:

– Миша-Миша, что ж ты орешь-то, как оглашенный? Ты потише читай. Бабманю уже не подымешь, а я бы хоть вздремнула чуток.

Как обухом по голове.

– Клавдия Степановна, прости, я и не слышу себя. Да, ты поспи. Я шепотом...

И всю ночь сменяли мы друг друга в надежде отогнать от Бабмани вожделеющих ее эфиопов. Едва тетя Клава начинала свои кафизмы, я садился на приставленный стул и меня неумолимо одолевала сон. Под тихий, размеренный ее голосок я проваливался в горячую дремоту. Но стоило ей, поддавшись сну, прерваться, как внезапная тишина расталкивала меня. Я вскакивал, шел в кухню и, отпив ледяной воды, вновь принимался за дело.

Под утро уже, когда за окном начало светлеть, когда стало слышно мычание бредущих на выгон коров, сопровождаемое по деревне сочным матерком чабана, меня стало двое. Один читал и читал Псалтырь, боясь прерваться хотя на мгновение. Другой же вдруг заговорил с Бабманей, будто и не уходила она никуда, а вот зашла с кухни и внесла смородиновый свой чаек.

– Ты уж прости меня, Бабмань, – повинулся я. – Что уму-разуму тебя учил, сопляк дипломированный. Что соблазнил тебя на Господа своего роптать. Что не поверил приготовлениям твоим, а все косил да строгал, да маяки по стенам выставлял. Что за долги эти десять дней ни разу не насиделся с тобой, не погладил реденьких волос на птичьей головке твоей, не наговорился с тобой, не наслушался вволю. И с деньгами твоими я теперь не знаю, что делать. И врачиха не взяла ничего, и Сашка Семенов отказался. И даже дядя Саша Звягин, старый жмот. Мы с Юркой только ехали к нему, а он уже гроб к калитке выставил. Денег не взял, обматерил. Забирайте, говорит,

скорее, мне в Инжавино давно надо, а я вас тут час дожидаясь. А ведь он у тебя под записью никогда не был. Сам гонит. И никто из труждающихся – ни копальщики, ни носильщики, ни певчие, ни блины пекущие – я уже точно знаю, никто не возьмет из твоих тряпиц за труды свои. Похоронишь ты себя, бабка, бесплатно. И вот морока мне теперь, куда деньги твои девать? Может, в храм пожертвовать?

– Сестре передашь, – раздался внутри меня отчетливый бабманин голос. И настолько ясным и очевидным было ее распоряжение, что я нисколько не удивился.

– С кем ты там разговариваешь? – спросила проснувшаяся тетя Клава.

– С Бабманей, – ответил я.

– А-а-а, это бывает. Давай, Миша. Светает уже, поспи чуток, я почитаю.

Где остановились-то?

– Третьей кафизме конец. Двадцать третий псалом начинай. «Господня земля, и вся исполнения ея...»

– Как третьей, не путаешь?

– Не путаю. По второму кругу идем.

– Ну, и слава Богу, – перекрестилась она и отлинула тетрадку свою назад. Ибо не первый десяток лет читала тетя Клава по усопшим, и с тех еще времен, когда печатные издания Псалтыри были в диковинку, переписала она всю ее от руки – в три большие клеенчатые тетради. По ним и проводжала уходящих.

Я вышел, умылся, вернувшись придвинул стул поближе ко гробу, закрыл глаза и снова позвал покойную.

– Бабмань, слышишь? Сестра твоя не прилетит. Сына, племянника твоего посылает. Телеграмма вот у меня. «Ноги не ходят, хороните без меня». Я деньги тогда племяннику передам, это понятно. А непонятно, что ты с церковью натемнила, Бабмань. Ты опять врала мне? Все уничтожалась... что люди подумают... юбку новую нацепила... А вот и не сходится у тебя! Женщины, которых прислал отец Сергей прибирать тебя, все до одной из причта были. И даже сама матушка, супруга батюшкина, приходила с ними – два мешка крапивы тебе нарвала, самолично выполоскала, все руки изранила. Как так? И вот же, сам отец Сергей читал в храме последование, и отошедшим без покаяния сам читал. Весь день не выходил из храма. И пели весь день Псалтырь. И поминальное сегодня будут готовить в домике причта. Ты же не церковная, Бабмань, а смотри... смотри, что делается... Как встал за тебя и батюшка, и весь причт его!

И мужики деревенские, в непомерном каком-то количестве весь день грудились возле двора. И маялись, как дети малые. И аж двенадцать копало тебе. А ведь самый покос, дел-то в деревне сколько! Как так, объясни мне? Ты все сокрушалась, что ни на что не пригодилась, что непонятно, зачем жила. А смотри, Бабмань... смотри, сколько любви оставила ты по себе! Не об иссякшей же самогонке слезы кутырские. Ну, уж у женщин-то точно не о ней. А если человек пробуждает хотя в единственном другом, хотя толику любви, малую совсем горсточку на малое совсем время, как говорить... как же говорить, Бабмань, о бессмысленности прожитой им жизни?

И ничего не ответила мне Бабманя. А хлопнула дверь и вошел Юрка. Пора, сказала, а то опоздаем. Надо в аэропорт ехать, бабманиного племянника встречать.

Вечером того же дня перенесли Бабманю в храм, поставили против царских врат, где и провела она последнюю земную ночь. И опять до утра читали над ней Псалтырь, а кто, я уж и не знаю. Вернувшись из Тамбова и поручив бабманиным соседкам племянника – весьма наглого и до неприличия веселого хохла лет пятидесяти – я вернулся к себе домой, налил полный стакан облепиховой, отомнил горбуху позавчерашнего, еще при жизни Бабмани купленного хлеба. Выпил, пожевал всухую и рухнул на кушетку. До утра.

И не знал я еще, что пройдет двадцать лет почти, а я все буду любить, буду помнить тебя. И аппарат этот твой, дурацкий и громоздкий, буду скакать за собой с квартиры на квартиру, и с одной дачи на другую. И разбить его рука не поднимется! А травы, тобою надписанные, все изотрутса в пыль, развеются, обратятся в ничто. Потому что плохой из меня самогонщик, Бабмань. Не чета тебе!

Шла суббота пред Петровым постом, и первая Божественная Литургия, на которую привел Господь Бабманю, подходила к концу. К панихиде в храме набилось довольно народу, не только кутырских, но даже из Салтыков, из Березовки пришедших. И лежала она среди нас, и личико ее – прозрачное, как янтарный камешек, будто подсвеченное изнутри тихим светом – было спокойно и радостно. И не было в нем ни следа тлетворного, понимаете ли. Не было смерти-то во гробе этом, а только свет и покой. И это было тем более странно, что по моргам ее никто не таскал и формалином не накачивал, а только молодая крапива, заботливыми матушкиными руками выстеленная во гробе, хранила ее от распада в этот последний час. Отец Сергей, обычно лишь в конце отпевания обращавшийся к присутствующим с утешительным пастырским словом, вопреки обыкновению, этим словом панихиду и предварил.

– Сегодня мы прощаемся с рабой Божией Марией, – заговорил он, часто-часто моргая ресницами. – Вся жизнь ее прошла на наших глазах, все мы видели, как она живет. А что на душе у нее, никто не знал. И я тоже не знал! Потому что за те шесть лет, как осветили мы наш храм и возобновили служение в нем, ни разу не пришла она на исповедь, ни разу не открылась мне. Но я и без того всегда знал... – отец Сергей помолчал несколько, окинул взглядом прихожан. – Я знал, что едва ли среди нас, дорогие мои, найдется хоть один, кто сравнился бы с ней в смирении, в терпении, в имении страха Божия.

Батюшка перекрестился и долго-долго, молча смотрел на янтарное личико. И вслед за ним перекрестились и смотрели на Бабманю остальные.

– И не надо бы об этом вслух, – продолжил отец Сергей, – но я скажу вам. В назидание скажу. Последние пять лет почти, каждую пятницу, а вы знаете, дорогие мои, что каждую пятницу после вечерни мы читаем акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша», и богослужение наше затягивается допоздна, каждую пятницу, если только не мороз и не белела она, каждую пятницу, схоронясь за кочегаркой, встречала меня Мария на дороге из храма в дом причта. И глаза к земле опустив, ни слова не говоря, передавала чистую тряпицу, в которую завернуты были недельные ее труды. И убегала сразу огородами. Задами убегала, чтобы никто из вас не увидел ее. И каждый раз пытался я заговорить с ней. И звал, и звал ее. Но не было мне, грешному, никакой возможности остановить ее. – И верхним краем золоченого креста произвольно и тщето пытался отец Сергей прикрыть бежавшие по щекам слезы. И шмыгал носами весь приход, и племянник бабманин растерянно улыбался. И я растерянно пенял бабке: так вот куда уходила маржа твоя, врунья бесстыдная!

– И все вы помните, дорогие мои, – продолжал батюшка, – с какой радостью устраивали мы четыре года назад новую звонницу. Так вот, крайний колокол, пудовый, он полностью жертвой Марии приобретен. И сень наша над алтарем, почти заново резаная. Целый год в притворе стоял ящик для жертвы на сень, и каждую службу проходили вы мимо него. А сень-то вся тоже ее трудами устроена. И в этом уже году, месяца еще не прошло, вы помните, как мостили мы площадку перед храмом. Эти вот сто с лишним метров брусчатки, там, где раньше каждую осень месили мы грязь, эти метры тоже Мария под ноги нам постелила. И многое еще за эти пять лет сделали мы благодаря Марии.

Да ведь не в деньгах дело, дорогие мои, не в деньгах! Не она, так другой кто помог бы нам. Мы молились с вами, и так или иначе услышал бы Господь и устроил нужды наши. А в том дело, братья и сестры, что мы прощаемся сегодня с человеком, на котором сбылась первая заповедь блаженства, на котором сбылись и другие евангельские слова, которого правая рука не знала, что делает левая. И я прошу вас сейчас, братья и сестры, очень прошу вас! Давайте помолимся теперь о рабе Божией Марии со всяким усердием, на какое способны.

И плеснул с хоров, и поплыл над Бабманей девяностый псалом, заботливо покрывая ее от сети ловчи, и от словесе мятежна, и от сряща, и от беса. А раба Божия лежала среди храма, и оттого ли, что огонек ближайшей лампы, пробежав по нестройным рядам, зажег разом столько свечей вокруг, от другого ли чего, но лицо ее как-то вдруг потемнело и построжело.

Будто силалась она, да не могла сказать: «Вот и батюшка тоже городушку нагородил... и к чему было?» А «Непорочны» все омывали и омывали неподвижное тело ее, как волны моря в безветрие аккуратно омывают мелкий камешек, схоронившийся за большим валуном. И «Самогласны» Иоанновы пеленали омытую новорожденную душу, как материнские руки пеленают драгоценное дитя свое. И в вышнем глазе хора все слышался мне голосок ее надежды, устремленный к алтарю: «Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся». И я молился вместе со всеми за душу бабманину, а думал о своем.

Боже мой, Боже! Почти два тысячелетия прошло с того дня, как Ты обещаешь обступившим Тебя в Капернауме, что всякого человека, верующего в Тебя, воскресишь в день последний. Что мы пред очами Твоими, когда и тысяча лет Тебе, как день вчерашний, прошедший? Утром вырастаем и цветем, а к вечеру уже подсекаешь нас, и засыхаем. Тьмы и тьмы травиночек беззастенчиво срезал Ты за эти тысячелетия, тьмы и тьмы их запихал плуг Твой «в землю туюжде». Что, кроме любви и памяти, можем мы противопоставить нетерпеливому ожиданию обетованного дня? И не есть ли воспоминание уже воскрешение? Есть! Есть, ибо одна кровь адамова в каждом из нас, и одно дыхание Божие изначально связывает нас воедино. И покуда жив будет хотя один человек, живы будут все, кого он помнит и любит. А раз так, то в тот день, когда и меня запашешь Ты плугом своим, что тогда написано будет обо мне в смертных списках? И где обрящуся аз? Кто будет стоять подле меня в такой же точно час? Кто вспомнит, кто воскресит меня?

И стало мне страшно. И память торопливо выкалывала предо мной мои добрые дела. И лежали они одно к одному, все аккуратно и красиво упакованные – как конфетки коркуновские. Все одинаково приятные на вид, все до одного принесшие мне заслуженное уважение, а отчасти даже и славу среди знавших меня людей. И правая рука моя сердечно пожимала левую, и левая отвечала ей взаимностью.

Шло к концу уже. Последний пред прощанием возглас коснулся бабманиного слуха. В последний раз обратилась она к нам со своей по-тамбовски напевной просьбой: «Видя меня, лежащей безгласно и бездыханно, восплачьте обо мне, братья и друзья, сродники и знакомые. Еще вчера говорила я с вами, и вот нашла на меня смерть. Но вы, любящие меня, придите все, и целуйте мя последним целованием. Не буду уже с вами ходить или собеседовать впредь...» И зовомые ею выстроились в длинную нестройную цепочку и понесли ко гробу последнее свое целование. Крайним же в очереди пристроился племянчатый родственник бабманин, неуклюже сжимавший в правой горсти молоток и четыре сотки с широкими шляпками. Отдал и он тетке своей последний долг. И выпрямился, и не отходя от гроба, кивнул стоящим возле крышки: мол, давайте, тащите. «Рано», – кратко и кротко остановил его отец Сергий.

Когда же сходили с паперти на брусчатку, смолчал, вопреки обыкновению, маленький проводной колокол, висевший под аркой у входных дверей, а закричал со звонницы бабманин – пудовый. Одиноко и едва слышно. Но чем дальше отходили мы от церковной ограды, тем дружнее и громче расплескивался над Кутырками погребальный перебор – от высокого бабманиного к большому, басовому колоколу, как бы перебирая в воспоминании всю ее жизнь – от младенческого дисканта до хриплой, надтреснутой старости. А затем все шесть колоколов разом отбивали, отсчитывали последние ее минуты. И вдруг оживлялся, и посылали с неба краткий и казавшийся сейчас таким неуместным радостный трезвон, из коего вновь скорбно и робко выпрастывался маленький бабманин пудовик. И так круг за кругом, круг за кругом.

Близ погоста встретились нам двое Гадариных – отец и старший из сыновей. Бабманю они недолюбливали, считали тунеядкой и спекулянтшей, сами же обретали благоволение Божие, трудясь денно и ночью в поте лица. И не из принципа, может быть, а оттого, что коротки благодатные летние дни, не пошли они на панихиду вместе с односельчанами, а по росе еще начали косить на своей леваде жирную прикладбищенскую траву.

Люди в большой семье Гадариных были все набожные, по большим праздникам исправно ходившие к обедне и о десятине не забывавшие. И были

они едва ли не самыми уважаемыми в деревне. И Божье благословение, без сомнения, почивало на них, ибо огромный дом гадаринский был, что полная чаша. Четыре поколения жили в нем под одной крышей. И все многодетные. И лошади свои, и коровы. И свиней немало было у Гадариных. И на ярмарке инжавинской возле их обоза всегда было полно народу, ибо было там, кого послушать и о чем поторговаться.

Поворотившись ко гробу задницами, отец и сын ворошили и раскидывали длинными граблями скошенное по утру сено. Когда же скорбное шествие скрылось за поворотом на погост, отец гадаринский отложил грабли, отер пот. И вынув из кармана туго набитый кисет, сказал сыну:

– Смотри, Санек, что творится-то! Мать нашу хоронили, так Сергей и с паперти поленился сойти. А тут аж на погост поперся!

– Точно, батя! – поддакнул сын. – Самогонщицу какую-то хоронючь, а раззвонились, как на паску... Чудны дела Твои, Господи!

И оба, поворотившись к востоку, где над высокими вязами плыл в небе золотой купол со крестом, дружно перекрестились. Сын снова взялся за грабли, а отец, развязав кисет, принялся отсыпать в лодочку ароматную моршанскую махру.

А Кутырки все шли и шли, и пели «Трисвятое». Впереди отец Сергей с певчими, за ним Бабманя, потом и мы все, гуртом. Юрка же Четвертак носился по деревне на своей «канарейке» – то вслед за нами, то навстречу – перевозя поминальное из домика причта в навсегда покинутую Бабманей избу.